

На костылях любви

Автор:

Владимир Качан

На костылях любви

Владимир Андреевич Качан

Одобрено Рунетом

Вспомним удивительную закономерность: если человек талантлив, то обязательно сразу в нескольких направлениях. Это как раз про Владимира Андреевича. Одна из граней его таланта – прекрасная, ироничная, иногда немного грустная, а иногда уморительно смешная, но в любом случае качественная проза, написанная на одном дыхании. И читается она также: открываешь первую страницу и... не можешь оторваться.

Владимир Качан

На костылях любви

© Владимир Качан, текст, 2019

© Юлия Межова, иллюстрации, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

А теперь беги!

После того как Гена ее убил, ему стало тяжело жить, вернее, не то чтобы тяжело, а как-то беспокойно. И хотя он убил ее не прямо, не физически, а косвенно, беспокойство и душевный дискомфорт не оставляли. Она уже не жила, а Гена жил и собирался жить еще долго.

Сам он очень боялся смерти, он знал, что когда-то это произойдет, но всячески гнал от себя эту мысль; он полагал, что ему в этом смысле повезет больше, чем другим: он будет жить долго, рано не умрет. Ничем серьезным он никогда не болел, но, где бы у него ни закололо или ни заболело, он непременно подозревал рак, никак не меньше. И, хотя в глубине души Гена умирать не собирался, тем не менее этак сладенько со смертью поигрывал, заигрывал с ней в пределах допустимого: то улицу перебежит в опасном месте, то заплывет далеко в море, но не очень далеко, в общем, рисковал, но не сильно. Другьям и знакомым он говорил, что не доживет до сорока, втайне ему мерещился заветный возраст – тридцать семь, но, когда он благополучно перешагнул через этот рубеж, он стал говорить о сорока двух – сорока трех годах: линия жизни на ладони у него именно такая, он выдумал какую-то таинственную цыганку, в юности нагадавшую ему смерть именно в этом возрасте. Ну, разумеется, если возросла продолжительность жизни вообще, то и продолжительность жизни высокоодаренных людей тоже: раньше было тридцать семь, теперь где-то 42–43. Ну, и без цыганки в этом вопросе тоже было нельзя – у Пушкина была ведь кофейная гадалщица, а еще цыганка Таня, предсказавшая ему смерть от белой головы, стало быть, и у Гены должна была появиться эта цыганка.

Он был очень мнительным и страстно влюбленным в себя человеком. Он любил себя так, что даже не мог в полной мере ответить себе взаимностью, это была даже не страсть, а постоянное холение и лелеяние себя, нежелание отказать себе ни в чем, он баловал себя и все себе прощал, но после того как он убил ее, наступил у Гены разлад с собственной персоной, потерял он согласие с собой, даже как-то немного охладил к себе. И хотя он убил ее не прямо, не физически, а косвенно, беспокойство и душевный дискомфорт не оставляли его.

А дело было так. Нина вышла замуж за Валентина не по любви, наоборот, это Валентин очень любил Нину и готов был сделать для нее все, лишь бы она была спокойна и счастлива. Но Нина с детства тяжело и постоянно тянулась к Гене и, хотя видела, что Гена к ней равнодушен, ничего не могла с собой поделать. Гена же не любил ее не потому, что Ее, а потому, что вообще не мог никого любить, иначе он изменил бы себе, а себя он обожал самозабвенно и нежно. Таким

образом, складывалась типичная для русской классики картина: Валя любит Нину, Нина любит Гену, Гена любит себя. Но если не любишь, так и не люби, будь в стороне, но нет: Гена широко пользовался любовью Нины, он барственно позволял любить себя.

Справедливости ради надо сказать, что некоторое время Гена сопротивлялся: он видел, что отношение к нему этой девушки слишком серьезно, и смутно чувствовал, что если пойдет на поводу у похоти, то это будет большой грех. Даже уговаривал Нину остыть, выйти замуж за Валю, но уговаривал как-то так, что она, бедная, совсем сгорала; он уговаривал Нину не любить себя с каким-то трагическим кокетством: выходи замуж, а я... как-нибудь один, это моя судьба, – короче, так, что с бедной девочкой становилось совсем плохо.

В конце концов она вышла замуж за Валю словно по приказу Гены. Если бы он велел, она вышла бы за дворника Мустафу из их дома, но он сказал: «Выйдешь замуж за Валю, будешь как за каменной стеной, – и прибавил, грустно глядя за воображаемую линию горизонта: – И забудешь меня...»

– У меня сердце ноет, – сказала Нина. – Поцелуй меня на прощание. Хоть один раз.

– Не надо, – сказал Гена и еще раз внутренне похвалил себя за мужество и волю: ведь Нина была очень хороша собой, а Гена – нет, ни в какую, умница...

И она пошла замуж за Валю, который, казалось, ждал ее всю жизнь, потому что так приказал любимый. Впрочем, Валя этого не знал, а если бы и знал, в его поведении вряд ли бы что-то изменилось. Валя был, что называется, из надежных людей.

Но когда Нина оказалась Валиной женой, когда его любовь, доверие, внимание и деликатность стали залечивать ее душевную рану, заглушать и ретушировать ее сердечную боль, – вот тогда-то Гене и стал подмигивать дьявол, вот тогда он возжелал Нину снова. Ситуация довольно типичная, и Гена это понимал. Понимал, что он не один такой, достаточно вспомнить хотя бы Онегина, которого потянуло к Татьяне, когда она вышла замуж. Он знал это, наблюдал в других раньше. И ничего не делал, чтобы изменить себя: Гена считал, что это незачем, таким создала его природа. Кроме того, жить так удобно и хорошо: можно разрешать ухаживать за собой и позволять другим себя беречь, можно,

наконец, позволять себя любить и, как клоп, высасывать кровь из любящего человека, покуда хватит аппетита, до последней капли.

Гена так и поступил. Случилось так, что Валя уехал на несколько дней по делам, и тогда Гена пришел к Нине.

Пришел, когда ей казалось, что она уже перестала его любить. Гена вначале позвонил, Нина сняла трубку и вдруг, после его «алло», почувствовала, что сейчас упадет. Ее выстроенный мир, ее маленькая крепость оказались сложенными из костяшек домино: чуть-чуть толкни – и все сразу посыплется. Но она еще держалась.

Она, как ей казалось, непринужденно и легко спросила его:

– Как дела?

Он помолчал, спросил:

– Нельзя ли обойтись без дежурных вопросов? – потом еще помолчал и добавил: – Я ошибся, отпустив тебя, я о тебе все время думаю, ты мне снишься, я хочу тебя обнимать, это меня мучает.

Гена не стеснялся таких слов. Из посещенных сеансов индийского кино он знал, что мелодрама пробьет себе дорогу к сердцу любой женщины. И Нина заплакала от облегчения и странного одновременного ощущения горя и счастья. Горя – оттого, что это рушило ее сложившуюся жизнь, а облегчения и счастья – оттого, что она тайно от всех и от себя об этом мечтала. И, словно плотина прорвалась, Ниной завладели нежность и желание. Она только и смогла прошелестеть в телефонную трубку:

– Зайди... сейчас.

Ее стала колотить крупная дрожь, она побежала прибираться комнату.

Через пятнадцать минут пришел Гена.

Все произошло мгновенно. Еще в передней она раздела его и себя, не переставая целовать; в глазах Гены промелькнул некоторый испуг перед шквалом такой обнаженной искренности и страсти, но Нина не обратила на это внимания, а скоро Гена и сам отвлекся, отдавшись инстинктам.

Он вкушал запретный плод, запретный по всем моральным категориям, внушенным с детства; он делал это тайно, отчего тот был еще слаще, и, самое главное, Гена чувствовал, что имеет над Ниной полную власть, что она будет делать все, что он попросит, и сейчас, в постели, и потом.

И он просил. Даже не просил, а просто велел, говорил, чего хочет, – и все так и было. А потом она долго спрашивала, что же будет дальше с ней, как он теперь распорядится своей властью, что он прикажет ей делать. Гена пытался очень мягко объяснить, что ничего делать не нужно, что пусть все остается, как и было, пусть Валя ничего не знает, а они найдут время и способ, чтобы встречаться. Она говорила «конечно», а сама думала, что от Вали скрыть ничего не удастся: муж слишком ее любил и слишком чувствовал в ней малейшую перемену. Но любимый, ее хозяин, сказал, что будет так, – и так было.

Через два месяца ощущение остроты и пикантности воровства у Гены не притупилось, пока ему не осточертело вечное выражение собачьей преданности в глазах любовницы. Они стали встречаться реже и реже, она плакала и говорила, что, если он ее оставит, она не будет жить. Гена не придавал ее словам значения, считая их обычной дамской истерикой. Больше всего его раздражала банальность обрыдлого треугольника, миллион раз встречавшегося в жизни, в кино, в литературе. Все происходило по дурацкой схеме: она изменяла мужу, затем любовник охладевал к ней, затем она травилась или бросалась под поезд. «Но время другое, – думал Гена. – Сейчас все стало настолько проще и циничнее, настолько обмелели и сузились, так сказать, реки страстей человеческих, настолько каждый зациклен на себе (Гена всех мерил по себе), что никто с собой не кончает. Поплачут, напишут прощальные стихи и живут дальше, любят других, а это все, что казалось в свое время важным, становится со временем даже смешным и занятым: мол, со мной ли это было?..»

Наконец наступил момент, когда Гена порвал постылую связь и не появлялся целых полгода. Через эти полгода, осенью, теперь-то он намертво помнил число, 1 ноября, он сильно напился и позвонил, решив, что, если трубку снимет Валя, он просто не будет говорить. Но трубку сняла она, Валя был на работе, и он снова пришел к ней с бутылкой коньяка, а когда еще немного выпил, опять взял то, что

хотел, хотя Нина была уже в его руках не любящей иступленно женщиной, а безвольной, постоянно плачущей и покорной: если тебе очень надо – на.

Потом Гена сразу ушел, прихватив оставшийся коньяк (все-таки улика), – а у дверей, не оборачиваясь, сказал:

– И так будет всю твою жизнь, поняла?

Наутро Валя пришел с работы и застал жену отравившейся снотворным. Смерть наступила, как сказал потом врач, в четыре часа утра. Ни предсмертной записки, ни объяснения случившемуся не было.

Гена узнал о смерти Нины от Вали, который позвонил ему, чтобы позвать на похороны. Он пришел и уронил слезу над гробом, а когда отходил, поймал на себе слишком пристальный взгляд Нининой подруги Веры. Вера смотрела на него с брезгливым испугом, как на подползающего гада. Гена обеспокоился, но быстро утешил себя: ведь никто ничего доказать не может, их встречи с Ниной происходили с глазу на глаз, и его никогда не видели даже соседи, уж об этом-то он позаботился. А еще он сказал Нине, чтобы ни одна душа о нем не знала, и он был уверен, что Нина не ослушается. Ну а если она Вере что-то и сболтнула, то это сумасшедшие фантазии: все знают, что Нина раньше любила Гену и вот создала себе иллюзорный мир их встреч, что потом привело к психическому расстройству и трагическому концу, Гена тут ни при чем, все знают, что он даже уговаривал ее выйти за Валу.

И потом, когда они собрались на поминки, и позже, когда они с Валею остались вдвоем, вспоминали и молчали, он чувствовал, что его начала незаметно засасывать и остро тревожить эта странная игра. Он знал, а Валя – нет, и Валя относился к нему как к ближайшему другу, и выплескивал перед ним свою боль, свою душу, и говорил, что всегда знал о Нинином чувстве к Гене, но Гену за это не винил, а только старался принести ей покой и радость. Гена чувствовал странную и болезненную тягу к Вале. Но спустя какое-то время это гипнотическое любопытство, этот ирреальный интерес не прошел, а усилился. Как Раскольников возвращался к месту преступления, так и Гена постоянно искал контактов с Валею. Не было недели, чтобы они не встречались, и их странная дружба становилась все теснее. Причем Вале все казалось совершенно естественным, а у Гены очень скоро появилось чувство, что он гуляет на грани

сумасшествия, что должен совершиться поворот и разрешиться каким-то событием, иначе он и вправду может свихнуться.

И вот, ровно через год после событий, 1 ноября, Гена спускался в подвал, где работал Валя, с тем чтобы предложить другу отметить годовщину со дня смерти Нины.

Гена уже несколько раз бывал в этом подвале и каждый раз спускался туда с неприятным ощущением, что это уже было – то ли в какой-то другой жизни, то ли во сне (то, что называется дежавю). Ступени подвала стерлись, в центре каждой ступени образовалась впадина, так давно по ним ходили вверх и вниз, лестница была крутой и очень узкой, а стена справа – из красного облупившегося кирпича. За стену приходилось каждый раз хвататься, так как лестница была очень крутой, а ступени – скользкими. Гена уже почти спустился в каменный мешок, как вдруг прямо перед ним возник Валин напарник, Гена не помнил, как зовут его, и быстрой презрительной скороговоркой сообщил Гене, что Валя знает все.

– Что – все? – спросил Гена посеревшими губами, хотя заранее знал ответ.

– Да все, – сказал напарник. – Отчего его жена умерла. Ему кто-то рассказал. И не надо перед ним ломать комедию, не стоит, время дорого, и я сейчас все это тебе сообщаю не из-за твоих красивых глаз, а потому что боюсь за Валю: ведь он тебя сейчас ищет, а найдет – убьет, а убьет – сядет в тюрьму. Поэтому шанс бежать у тебя есть только сегодня и немедленно. Если сегодня Валя на тебя наткнется, то кончит сразу, завтра у него, может, еще что-то притупится, уйдет, может, обратится в суд, а там неизвестно, что и как повернется, – где доказательства? Но сегодня надо бежать и прятаться, сегодня непременно убьет, и надо уходить отсюда как можно скорее.

С этими словами он развернул одеревеневшее туловище Гены обратно к выходу и слегка подтолкнул. Гена остался стоять, ноги не двигались.

– Беги, гад! – хлестнул сзади фальцетный вскрик, словно будя его.

И Гена медленно и странно, как в рапидной съемке, побежал наверх на ватных ногах. Он выбежал на улицу и несколько секунд метался из стороны в сторону, не зная, влево или вправо ему кинуться. Почему-то в голову пришла мысль

побежать домой и переодеться во что-нибудь эдакое, чтобы его не сразу узнали, но потом он сообразил, что Валя может ждать его возле дома, и бросился в обратную сторону.

Ноги по-прежнему были будто ватными, Гена бежал в каком-то безнадежном паралитическом оцепенении, как в кошмарном сне, когда знаешь, что всё равно догонят, однако надо бежать, надо переставлять непослушные ноги, преодолевать эту мерзкую слабость в паху, – и в беспредельном ужасе он продолжал свой панический бег.

Обогнул дом и вбежал во двор, где был второй вход в продовольственный магазин и где работали грузчики. Возле служебного входа никого не было, а на пустых ящиках из-под бутылок лежал брошенный кем-то старый синий рабочий халат, а на нем – берет. Не раздумывая, Гена подхватил на бегу эту спасительную, как ему казалось, камуфляжную форму и побежал дальше, в подъезд, как он знал, выходящий на другую улицу. Не теряя темпа, в подъезде Гена напялил на себя сверху синий халат и натянул берет пониже. При выходе крайне осторожно выглянул налево, потом направо, быстро пересек улицу и побежал по переулку.

Гена подумал, что первая фаза побега ему удалась, что удалось, по крайней мере, если не отменить, то отсрочить неминуемую расправу, и теперь необходимо решить, куда бежать дальше, надо ведь не бесцельно бежать куда-то, а так, чтобы не нашли. Боковым зрением он уловил, что шагах в двадцати из-за дома появилась какая-то фигура, и бросился в сторону, в соседний двор. Сердце провалилось куда-то в живот, и Гена беспорядочно заметался между домами. Ни в голове его, ни в душе больше не было ничего, кроме предсмертного заячьего крика. Он испытывал только чисто биологическое ощущение преследуемой дичи, когда на карте – жизнь и спасти могут только ноги. Через полминуты судорожных и нелепых рывков из стороны в сторону к нему вернулось человеческое, и он вспомнил, что очертания той, возникшей сбоку, фигуры ничего общего с Валею не имели, и осознал к тому же, что его никто не преследует. Гена бессильно опустился на корточки у стены и попытался привести мысли в порядок и определить, куда двигаться дальше.

Неярко светило ласковое осеннее солнце; было бабье лето, последняя перед зимой мудрая улыбка природы, предназначавшаяся кому угодно, только не Гене, со своей панической суетой в душе никак не вписывавшемуся в теплый и свежий покой двора. Надо было бежать, но куда? Куда бы он ни пошел, там может

оказаться Валя, предугадать, вычислить его будущее движение. Надо было поступить парадоксально, побежать в совсем неожиданное место, какое Вале и в голову не могло бы прийти. Ясно, что сейчас надо сесть на любой первый попавшийся троллейбус, автобус и выехать из этого района, а там будет видно. Может, добраться до вокзала, аэропорта, но нет! – с собой ведь нет денег, да и там вполне может ждать Валя или кто-то из его знакомых. Лучше предположить, что на него уже началась облава.

Тщательно осмотревшись, Гена двинулся через двор к переулку, ведущему к троллейбусной остановке, пробежал переулком метров тридцать и, оказавшись у остановки, юркнул в ближайший подъезд. Он собирался выскочить в последний момент, перед самым отходом троллейбуса, а до этого следить, кто стоит на остановке и кто подходит. Троллейбуса долго, как казалось Гене, не было, и он впервые в жизни пожалел, что не курит.

Когда троллейбус подошел и принял в себя последнего пассажира, Гена рванул из подъезда и вскочил в среднюю дверь. Цепко выхватывая из скопления пассажиров отдельные лица, он стал рыться в карманах в поисках денег за проезд, но вдруг ему пришло в голову, что не надо платить: если водитель потребует, Гена затеет скандал и попадет в милицию, а там отсидится несколько часов, а если повезет, его посадят на сколько-то суток за хулиганство... Водитель не обращался, пассажиры тоже, некому было нахамить вот уже несколько остановок. Он чувствовал нарастающее беспокойство: случайность, один шанс из тысячи, но все же Валя или кто-то из его друзей мог войти и увидеть его. Он чувствовал себя опасно запертым в замкнутом пространстве, снова ощутил физическую потребность куда-то бежать. Гене стало казаться, что его вот-вот схватят, и он еле сдерживался, чтобы не закричать и не броситься к выходу, расталкивая всех. Опираясь на ускользающие остатки здравого смысла, почти спокойно спросил стоявшего перед ним мужчину, выходит ли тот на следующей. Пассажир обернулся, и Гене показалось, что слишком пристально на него посмотрел, когда ответил, что выходит. Ему почему-то казалось важным не вступать даже в мимолетный контакт ни с кем, сохранять полное одиночество, чтобы его никто не задевал и не трогал, – ведь каждый мог оказаться потенциальным врагом.

Гена выскочил из троллейбуса, побежал и тут же свернул в большой тенистый переулок, сплошь усаженный деревьями. Он поймал себя на том, что движется между деревьями короткими перебежками, на несколько секунд задерживаясь у каждого ствола, как будто в него прицельно стреляли и пока не попали.

Он слегка усмехнулся про себя, подивившись тому, что еще способен на самоиронию, и вдруг увидел, что уехал совсем недалеко: знакомая улица, кафе-мороженое, где он не раз бывал, в котором можно было выпить коньяку. Гена подумал, что ему необходимо выпить, потому что он почти не владеет собой, и побежал через улицу в кафе.

Народу было совсем немного, и Гена еще из-за двери в зал тщательно осмотрел считанных посетителей за столиками и за стойкой бара. Он протянул барменше купюру и попросил сто пятьдесят граммов коньяку.

– В спецодежде не обслуживаем, – услышал он и вспомнил, во что одет.

«Тьфу, глупость!» – подумал Гена, противно-искательно, как часто делают при общении с нашей сферой обслуживания, улыбнулся и тихо добавил:

– Сдачу оставьте себе.

– Какая сдача! – громко сказала «сфера обслуживания». – Засунь ее себе знаешь куда?

Очень громко она это сказала, и некоторые посетители обернулись.

Гена схватил с тарелочки деньги и быстро пошел к выходу. Вспотевшей спиной он чувствовал все презрение барменши Клавы, которая его даже не узнала. А ведь он в свое время оставил здесь уйму средств, и лично ей на чай – тоже. Валя, между прочим, в прошлом году в день рождения Гены купил ящик шампанского ей и остальным работницам кафе. Они тогда начали праздновать еще утром, а вечером, проводив гостей, оказались в этом кафе, Они тогда здорово догуляли здесь вдвоем, а потом принялись всех угощать. У Гены денег уже не было, но были у Вали – и с понтом заказали ящик шампанского.

«О господи! – Пот на спине Гены стал холодным и липким. – Ведь Валя тоже сюда заходит! И слишком хорошо знает „друга“, так что легко может предугадать его появление здесь. – Боже мой!» – опять обратился Гена не по адресу к тому, к кому взывать сейчас уж ему-то бы не следовало. Хоть какие-то остатки стыда в нем должны были сохраниться!

Но нет! Он порядочно давно и без сожаления расстался со стыдом, а в тот момент тем более не вспоминал о нем. Им владело одно только чувство – самосохранения. И оно трусливо вопило: «Спаси, Господи! Я ведь здесь на волосок от гибели!»

Это нестерпимо заячье чувство вновь всколыхнулось в Гене и затопило мутной волной. Опять все в нем заметалось и забилося, опять он побежал, едва выйдя из дверей кафе. Он бежал уже вне всякой логики, туда, куда несли ноги, бессмысленно петлял по переулкам, потом бежал по улице и снова – в переулок, перебежал следующую улицу на красный свет, едва не попадая под машину, возвращался назад и снова бежал – в какой-то двор, в какой-то тупик, где его охватывал новый ужас от того, что это – тупик, потом назад – и снова по улице, по проходным дворам, в переулки, когда силы были на исходе, сердце уже стучало в горле, выпученные глаза лезли из орбит, а прохожие оборачивались, скорее всего думая: наверное, этот человек что-то украл и спасается бегством.

Гена заметил взгляды и отчаянным усилием воли заставил себя перейти на шаг. Задышавшись, прошел несколько метров и вдруг увидел справа вывеску – «Кафе-мороженое». Гена осознал, что прибежал туда же, откуда стартовал пятнадцать минут назад. Он завыл от унижения и бессилия. Ужас на время отступил, уступив место злости на самого себя – за истеричный страх и бестолковый бег.

Он почувствовал всю нелепость своего маскарада, зашел во двор и брезгливо сбросил с себя халат и берет, затем зашел в ближайший открытый подъезд и поднялся в лифте на последний этаж, чтобы чуть успокоиться и отдышаться. Там минут десять постоял, чутко вслушиваясь в работу лифта и неясные голоса внизу, потом спустился, зло и быстро обошел дом, вошел в кафе и потребовал у барменши коньяка. Не успела та открыть рот, как Гена решительно заявил:

– Я уже не в спецодежде и не на работе! Быстро налей сто пятьдесят коньяка!

Барменша машинально достала бутылку, стаканчик с делениями и стала лить, глядя больше на Гену, чем на деления. В ее глазах появилось узнавание. Требуемая доза была налита. Гена схватил стакан и стал пить, знаком показывая, чтобы Клава дала еще соку, чтобы запить. Клава достала пакет с яблочным соком и участливо спросила:

– Геннадий Сергеевич, это вы, что ли?

– А то кто же! – солидно ответил он, переводя дух и оглядываясь на зал.

– А что в халате заходили? – игриво продолжала допытываться Клава. – Или, может, на работу в наш овощной устроились?

– Нет, – непонятно пошутил Гена, – это я для конспирации.

Коньяк начинал действовать, напряжение немного спало.

– Нет, серьезно, – добавил он. – Так нужно было. Только ты никому не говори, ладно?

– Ладно, – согласилась Клава. – Станный вы какой-то сегодня... Случилось что?..

– Да ничего особенного, – отмахнулся Гена, – пройдет...

За этим его «пройдет» угадывались очертания такой таинственной и страшной драмы, что сердобольная Клава обязана была догадаться о ней и немедленно пожалеть Гену, ведь некому было его сейчас пожалеть. В глазах Клавы мелькнуло сочувствие, она ласково погладила страдальца по руке. Гена и тут был верен себе.

«А что, если к ней попроситься? – подумал он. – Даже пожить у нее какое-то время, рассказать все...»

Но тут Клава, потенциальная жертва очередного Гениного мужского безобразия, сказала:

– А сегодня днем вас тут спрашивали. Друг ваш, помните, в прошлом году, с которым вы у нас гуляли?

– Давно? – спросил Гена вдруг пересохшим ртом.

– Да порядком, – ответила Клава, – часа полтора тому назад.

– Спасибо, – заторопился он, – я пойду... Дела...

– Заходите почаще, – кокетливо предложила барменша в слабой надежде на устройство личной жизни.

– Обязательно, – ответил Гена, улыбнувшись через силу, а про себя добавил: «Если буду жив».

Он вышел на улицу. Голова работала четко, ноги слушались. Гена решил, что выйдет на параллельную улицу и пойдет в сторону от центра, затем позвонит из автомата Любе – своей старой знакомой, которая никогда не отказывала ему в мелких просьбах, одолжит немного денег, встретится с ней в условленном месте и попросит вывезти на машине за город или до ближайшего места, где можно сесть в поезд и на первое время куда-нибудь уехать. Паспорт, по счастью, с собой, и можно попытаться засесть, затаиться в гостинице любого населенного пункта. «На пару дней, а там посмотрим», – строил Гена свой незатейливый план. Может, в голову придет и что-то поумнее.

План в целом был неплох, лишь бы Люба оказалась дома.

Она была дома. Гена стоял в телефонной будке и, путаясь, запинаясь и бесконечно повторяясь, пытался объяснить Любе суть дела. Он дал себе всего две минуты на разговор, так как боялся, что его кто-нибудь увидит.

– Люба, ты мне очень нужна, – почему-то шепотом говорил Гена, а сам вертелся во все стороны, оглядывая улицу. Люба пыталась что-то сказать, но Гена не давал. – Я попал в беду, потом все объясню. Мне нужны деньги, хотя бы тысяч десять, и твоя машина. Можешь отвезти меня, куда я скажу?

– Что случилось? Что?

– Потом, потом, – торопился он. – Сейчас нужно то, что я сказал, как можно быстрее!.. – В голосе Гены все отчетливее звучала истерическая настойчивость. – Да, да, сейчас, немедленно, я серьезно говорю, я подохнуть могу от этого всего! Прошу тебя, мне очень надо! Люба, миленькая, напрягись, это самое важное, что у меня было в жизни!

Он почти кричал. Голос его звенел в трубке, молил, выл и плакал.

Панической, полубезумной мольбе было почти невозможно отказать; Люба не отказала.

– Гена, успокойся, – сказала она, – возьми себя в руки! – Она уже говорила жестко и управляла ситуацией. – Мне нужно пять минут, чтобы выйти из дома, через пятнадцать минут я в Сбербанке, потом к тебе, ты где находишься?

Гена назвал улицу и уточнил, что ей надо подъехать к перекрестку, а он, как только увидит ее машину, подбежит и сядет.

– И еще, – добавила Люба. – Тебя ищет твой друг, просил срочно позвонить ему, если ты случайно у меня объявишься.

– Кто? – спросил Гена, чувствуя, как из глубины вновь поднимается волна темного ужаса.

– Да Валя же, Валя, – тоже торопясь, ответила Люба. – Ищет тебя, может, тоже по твоему делу, хочет тебе помочь, позвонить ему?

– Ни в коем случае! – закричал Гена так, как будто лезвие ножа входило ему в живот и поворачивалось там. – Не на-а-до!!! Нет! Ты что!

В трубке противно запищало – знак, что время разговора подходит к концу.

– Когда звонил? – перекрикивал писк Гена.

– С полчаса назад. Подъехать даже собирался...

– Не надо! Меня нет! Нет меня ни для кого, поняла?! Езжай быстрее, я тебя жду!

Гена положил трубку и провел ладонью по лицу снизу вверх, смахивая пот, который уже заливал лоб, глаза и капал с носа.

«Что же делать, что же делать?» – думал Гена, быстрыми шагами удаляясь от телефона-автомата и торопясь к месту встречи с Любой, как его остановила вдруг страшная мысль: ведь Валя собирался подъехать к Любе! Боже мой! Валя его действительно слишком хорошо знает и словно предугадывает все его

дальнейшие шаги... Все время действует на ход вперед. Странно, что он не появился в кафе еще перед его приходом. Но сейчас больше таких ошибок делать нельзя. Валя ведь знает о его отношениях с Любой: знает, что он обратится к ней за помощью; знает, что Люба ему не откажет, причем догадывается, что он не поедет к ней.

А-а-а, черт! Он уже наверняка знает, что я знаю и о том, что он уже всё знает о моей роли в смерти жены, и, стало быть, знает, что я бегу как заяц и не поеду к Любе, не подставляюсь; он и в кафе поэтому не появился, был уверен, что я буду прятаться, не буду светиться в таком месте, моя глупость меня и спасла, а теперь он наверняка знает, что я попрошу помощи, и Люба поедет ко мне, и, значит, никакого труда не составит просто проследить за Любиной машиной и поймать меня будет проще простого. И из этого всего следует, что идти сейчас на встречу с Любой нельзя...

«А куда, куда?! Люба наверняка уже выехала... Что же делать?!»

Гена снова заметался, снова его сознание затопил страх, он снова чувствовал себя дичью, у которой нет ни единого шанса спастись; был способен думать только спинным мозгом и испытывал только космический ужас, командующий всем его поведением. И Гена снова побежал. Он опять несся по улицам и переулкам, куда-то сворачивал, не понимая, где бежит, лишь бы бежать, бежал, как слепой, как безумный; в какой-то двор, налево поворот, угол дома, вереница сараев из бордовых досок (доски бордовые, единственное, что успевает отметить Генин спинной мозг), дальше – тихий тупичок, группа ребят, сидящих на ящиках, разворот, окрик сзади: «Эй ты, спортсмен, куда спешишь?»; еще быстрее, опять из двора – по улице, по переулку, мимо больницы, мимо кондитерской фабрики, мимо, мимо, дальше, дальше...

Физически он уже был истощен, не мог бежать, но все равно механически переставлял ноги, размахивал руками, хватал ртом воздух, как марафонец Хуберт Пярнакиви, чей трагический пробег последних ста метров на давно прошедших соревнованиях часто показывали по телевизору.

Гена бежал, он убегал, он весь был сплошным бегом, только бегом и больше ничем, хотя со стороны был похож, вероятно, на умирающую, придавленную жабу, ползущую к обочине из последних сил. Он бежал...

Но это должно было когда-нибудь кончиться, когда-то должна была израсходоваться последняя капля энергии. И он упал. Бег кончился.

Через несколько секунд Гена пришел в себя. Он сел на тротуаре, прислонившись спиной к забору детского сада, поднял голову и увидел прямо перед собой, через улицу, вывеску «Кафе-мороженое». Круг замкнулся. От дверей кафе, как ему показалось, медленно, нереально медленно, к нему шел Валя...

Будто в замедленной съемке он подходил к сидевшему на земле с раскинутыми бессильно ногами – своему бывшему другу. Гена ждал. Он уже не мог никуда бежать, да и страх, как ни странно, отошел на второй план, уступив место нелепому в его положении болезненному любопытству: Гена, словно в кошмарном сне или фильме ужасов, видел себя и всю ситуацию со стороны и ждал, что будет.

Валя подошел и встал над ним. Целую вечность, как показалось Гене, он ничего не говорил, а только смотрел сверху на него – мокрого от пота и страха, сидевшего на асфальте с разбросанными ногами, которые пытался подобрать под себя, но не получалось, и ими он сучил, оставляя на тротуаре темные следы от резиновых подошв.

Пауза была как в не раз виденных Геной в юности ковбойских фильмах, когда встречаются палач и жертва, но жертва тоже некогда была палачом, и поэтому первый палач теперь – вовсе не палач, а воплощение возмездия, торжества справедливости, и симпатии зрителей на его стороне. И вот они после погонь, стрельбы, непопаданий друг в друга и всего прочего в конце фильма все-таки встречаются, и наступает момент истины, когда все окончательно решится, и один из них должен умереть. Именно сейчас.

Валя молчал, не двигался, в его пустых глазах не было ничего, не было даже гнева; он смотрел на Гену как на вещь, как на камень, лежащий на дороге, а Гена не мог оторвать глаз от его рук и заворуженно ждал, когда они появятся из карманов и что начнут делать. Поэтому он пропустил тот момент, когда Валя заговорил, и не сразу понял смысл слов, а когда стал понимать, перевел взгляд на Валино лицо. Он увидел мертвое лицо, на котором еле шевелились только губы.

– Иди отсюда, – выцеживались слова из этих губ, – сейчас иди, а потом я сам тебя найду, сам, понял? Где бы ты ни был, где бы ты ни прятался... Не ты ко мне приползешь, как теленок на убой, а я сам тебя найду... А ты пока живи, ходи и думай об этом... И жди... И бойся... И вспоминай, что ты сделал, и снова жди, жди все время, и я когда-нибудь приду за тобой... Или не приду, еще не знаю, но ты жди и помни... Жди и помни... Все время...

Валя медленно развернулся и пошел обратно через улицу. Вошел в кафе. Дверь за ним захлопнулась. Гена остался сидеть на тротуаре. Он так и не сумел подобрать ноги, и они, будто парализованные, валялись на асфальте двумя грязными обрубками, а между ними медленно растекалась лужица.

От пережитого ужаса Гену начало рвать. Он машинально старался попадать между ногами, но эта жалкая попытка сохранить порядок, сидя в собственной луже, была не только неуместной, но и безуспешной: через минуту он все равно оказался забрызганным, облеваным почти до пояса. Его ноги сами ожили и дернулись от омерзения, с которым владелец на них посмотрел.

«Надо бежать», – привычно подумал Гена, но тут же опомнился. Куда бежать? Зачем? Похоже, финальный забег завершился. Но, так или иначе, надо вставать и идти, идти куда-то. Домой или еще куда, но все равно ведь надо...

Он поднялся на дрожащие ноги, опираясь о забор детского сада, точнее, о металлическую ограду, сквозь которую можно было увидеть площадку, качели, скамейки и маленькую избушку для детских игр. Однажды они с Валею поздно выпивали и допить то, что у них было с собой, оказалось негде. Они проникли на территорию именно этого детского сада, забрались именно в эту избушку и, чувствуя себя то ли партизанами, то ли хулиганами, весело выпили бутылку водки и для лакировки – бутылку сухого вина. Когда было негде, они с Валею искали разные нелепые, но безопасные места, чтобы выпить, и называли этот процесс между собой «выпить на помойке».

«Смотри-ка ты, как все сегодня совпало, – угрюмо подумал Гена, глядя сквозь решетку на этот домик, – сошлось...»

И хотя он убил ее не прямо, не физически, а косвенно, беспокойство и душевный дискомфорт не оставляли его.

– Дядя, как вы запачкались! – услышал он вдруг слева от себя из-за забора.

Дети вышли на прогулку. На него ехидно смотрела кривоногая девчонка в сползающих колготках и с розовым бантом в ярко-рыжих волосах.

И хотя он убил ее не прямо, не физически, а косвенно, беспокойство и душевный дискомфорт не оставляли его.

– Дядя, вас, наверное, мама будет дома ругать за то, что вы так испачкались, – сказала девчонка, улыбаясь не по-детски. – Вы, наверное, большой шалун, да?

Гена пошел вдоль ограды, потом обернулся и сказал:

– Да, я... шалун. – Он с удивлением почувствовал, что плачет. – Я большой шалун...

Похищение и наказание

Комедийный детектив с приятным финалом

Часть I

Униженные и отомстившие

Глава 1

Такие разные миры

Начнем эту историю как сказку. Со слов «жила-была». Впрочем, предвосхищая события, можем сказать, что сказкой она и закончится. Итак, в одной очень богатой семье жила-была и стремительно подрастала красивая девочка. Источником больших денег у главы семьи стало своевременное внедрение в нефтяной бизнес. Финансовый источник в нашей истории роли не играет, тем более что слишком уж он банален. Им могло быть и что-то другое, но все же необходимо объяснить, откуда деньги, на которые отец нашей героини мог позволить себе то, о чем вы узнаете несколько позднее. А главное в этой истории – любовь с ее немыслимыми маршрутами и фокусами.

Единственная и любимая дочь, как водится, капризна и избалованна. С самого детства она получает все, что пожелает. Таких игрушек, привезенных со всех уголков планеты, не было ни у кого, кроме нее. Отчасти поэтому девочку никогда не видели ни в яслях, ни в детских садах. Исключительно домашнее воспитание – с няньками и теми, кого прежде называли гувернантками. Учителя, преподаватели английского, французского, испанского... Личные повара и прочее.

И вот в семье случилось несчастье: она, школьница, влюбилась без памяти в артиста Молодежного театра, который в спектакле «Фанфан-тюльпан» исполнял главную роль.

Однажды после спектакля она отважилась попросить у кумира автограф. А он воспринял ее как одну из опостылевших поклонниц, которые всегда тупо отождествляют человека, актера, с изображаемым им персонажем. То есть отнесся небрежно. И на машину глянул мельком и с презрением, когда водитель окликнул девушку по имени, а она повелительным, хозяйским тоном приказала ждать.

Артист, в которого она влюблена, был воспитан совсем по-другому. Он рос в малообеспеченной, скорее даже бедной семье, и родители с детства привили ему классовую ненависть к олигархам и чиновникам. Поэтому артист по имени Максим, носивший не совсем сценическую фамилию Зябкин, с детства ненавидел богачей, разъезжавших на таких, как у этой девушки, машинах. Он и сейчас не понимал, почему он – талантливый человек с высшим образованием – получает пятнадцать тысяч в месяц, на которые в Москве можно лишь с трудом выживать, но не жить. И при этом еще помогает родителям-пенсионерам. А у этой телки (он уверен, что иначе ее и не назовешь) с рождения есть всё, хотя

она (и в этом он тоже уверен) ровным счетом ничего собой не представляет. А он без всякой протекции сам всего добился, приехав в Москву из Ульяновска, где все свое бедное детство жил вместе с родителями. Только недавно мать с отцом, чтобы быть ближе к сыну, обменяли свою довольно большую квартиру в Ульяновске на комнату в коммуналке, да еще и в спальном районе столицы.

Социальному неравенству Максим мог противопоставить только гордость. Вот потому-то он и посмотрел на машину поклонницы как на мусорный контейнер, что, безусловно, ее задело.

Итак, она росла в среде, где принято считать, что сила там, где деньги. И правда – тоже. А он – совсем в иной среде, в которой система ценностей радикально отличалась от жизненных принципов большинства жителей Рублевки. Как говорится, «два мира – два детства». У их родителей детство, возможно, и было общим, но теперь – совершенно определенно два разных мира.

Родители юноши всей душой остались в Советском Союзе. Они и теперь активно участвовали в социально-политической жизни, не упускали возможности побороться за справедливость и были уверены, что в этой борьбе можно победить. Поэтому митинги, демонстрации, плакаты, сбор подписей в защиту чего-то или кого-то – в этом заключался смысл и содержание их жизни. А еще бедность на грани с нищетой, экономия на всем, даже на лекарствах, которые сильно подорожали, что, кстати, тоже было причиной митингов и гневных писем. Но зато – торжество принципов и идеалов, внушаемых с колыбели единственному сыну и принятых им доверчиво и безоговорочно.

У противоположной стороны все иначе, настолько, что временами их жизнь выглядела пародией. «Гламур – это представление плебеев о прекрасном». Так выразился один остряк о вчерашних плебейх со всем их сегодняшним шальным богатством. Эти трехъярусные дачи с колоннами; эти люстры, уместные лишь в театрах; эти мраморные львы и хрустальные леопарды; эти портреты любимых кошек, написанные знаменитым художником по заказам раскрашенных теток с искусственными губами, зубами и грудями; эти килограммы золота и многокаратные драгоценные камни и прочее и прочее. Словом, все слишком, неустанная демонстрация богатства, которое обязательно должно бросаться в глаза.

У юноши – стихи, бардовские песни, книги, музыка, живопись, его роли в театре – то есть вся гуманитарная бесполезность, которую доминирующий в обществе

класс считает свалкой или в лучшем случае вторсырьем.

У нее же – компьютеры, айпады, смартфоны, отдых на вилле-даче на Лазурном Берегу или в Майами, шмотки, шопинг, дурацкие караоке, телохранители и бессмысленные ночные клубы с коктейлями, кальянами и травкой, а местами и с порошком.

Таким образом, соединиться и даже просто встретиться они никак не могли: им, людям из разных миров, просто негде было пересечься. Судьба, однако, распорядилась иначе: однажды нелегкая занесла девушку в театр. И там она увидела ЕГО, играющего, поющего, танцующего и фехтующего в одном из мюзиклов, наводнивших к этому времени всю страну и особенно Москву.

Увидела и в тот же миг погибла. Беспamięтно и бесповоротно.

Все уговоры родителей, воззвания к разуму старшеклассницы – что это несерьезно, что, мол, он, этот актеришка, марионетка, шут балаганный, ей совсем не пара, – в результате ни к чему не привели и скорее оказали обратное действие. Родители подсовывали ей для знакомства разных красавцев из респектабельных семей, из их круга, из – как они сами полагали – светского общества. Ничего не помогало. Пробовали даже колдунью для приворота. Все бесполезно!

Они часто слышали, как любимое чадо плачет, запершись у себя в спальне, и приходили в отчаяние, не зная, что предпринять. Послали дочь доучиваться в Англию, чтобы там забыла предмет своего обожания. Но она не просто не забыла – болезнь любви только набирала силу.

Отец – нефтяной олигарх, можно сказать магнат, прилетевший навестить дочь, застал ее рыдающей над потрепанной и закапанной горючими девичьими слезами фотографией актеришки, которого папа уже заочно ненавидел. Такая упертость и верность своему никчемному идеалу, такая мощная влюбленность, сопровождаемая постоянными истериками, уже грозила психическим расстройством. Об этом и задумался заботливый отец, когда они вернулись по окончании учебы в Россию, туда, где в опасной близости жил и работал тот, по кому дочь, как говорят в народе, сохла. Ну что делать?..

И тут предприимчивому и любящему папе приходит в голову дерзкая, но спасительная, как ему кажется, мысль: дать дочери то, о чем она грезит ночами, – пусть натешится им как любимой игрушкой, и тогда любовь ее, глупая и несуразная, сама отомрет. Устанет и умрет. Вот как у практикующих ведьм в рекламе: «Ваш любимый приползет к вам на коленях и будет просить пощады». И тогда он быстро надоеет, даже осточертеет, но все будет ползать и ползать рядом, и избавиться от него – никаких шансов!

Вот так, полагал папа (который был, безусловно, богат, но в список «Форбс» не входил), по этой схеме и надо действовать. Только не сходить к колдунье (во всем этом мракобесии папа уже разочаровался), а поступить практичнее и радикальнее – то есть выкрасть паренька, попросту похитить и запереть в одном из загородных домов олигарха. Что это уголовное преступление – папу никак не заботило и нимало не пугало: он уже давно привык, что деньги решают всё. А денег у него было достаточно даже для того, чтобы при желании актеришку и убить (или, как иногда говорили в его кругах, «погасить»), затем вывезти труп из страны и похоронить подальше – где угодно, хоть на территории сопредельной, как полагал папа, Молдавии или в болотах Белоруссии. Но убить, хоть и очень хотелось, было нельзя: дочь потом сильно обидится, не простит, если узнает. А она узнает, он в дочери своей уверен на все сто. Она девочка пытливая и смышленная.

Значит, надо украсть парубка, лицедея недобитого, запереть так, чтобы «абонент был совершенно недоступен», и пусть дочь насладится этим «деликатесом» сполна. Только, конечно, никакого насилия! Постепенно, вкрадчиво, ласково приручить – вот как Печорин Бэлу в романе классика М. Ю. Лермонтова (на уровне средней школы папа был вполне образован). И актер тоже привыкнет к свежему воздуху, вкусной еде и скромному обаянию единственной дочери олигарха, к ненавязчивой ее красоте, что в условиях строгой изоляции и дефицита женского общества, несомненно, пробудит естественную потребность молодого мужского организма и приведет к нужному результату. Ну а потом, когда она перебесится, а он, уже выпотрошенный и безвольный, будет отпущен на свободу, пусть жалуется кому хочет, пусть судится, если захочет, – только как докажет, что его украли с целью успокоить какую-то девчонку, почти школьницу? Да над ним не то что весь театр будет смеяться – весь город! К тому же девчонка и ее влиятельный родитель могут заявить, что это он сам сгорал от любви и домогался ее так, что пришлось уступить и изолировать от общества, как он сам и просил, потеряв голову. Короче, шансов у парня – ноль! И все козыри у него, магната, и его любимой, но взбалмошной наследницы.

Решение было принято, и подготовка к похищению началась. Кроме того, необходимо было как-то уладить вопрос с родителями артиста. С театром проще – там начинался летний отпуск. Но родители могли поднять шум и инициировать начало розыскных мероприятий. Это требовалось пресечь на корню. Из всех способов папа знал только два: первый – физическое устранение препятствия и второй – деньги. Тут он тоже решил пойти привычным путем – дать родителям юноши хорошие отступные, чтобы просто помолчали несколько недель и вели себя тихо и разумно. За пару-то миллионов!..

Глава 2

Похищение

Итак, в голове всесильного папы сложился сценарий, а «сыграть» первый акт этого любовного детектива – то есть похищение артиста – не составляло никакого труда.

Все было намного проще и скучнее, чем показывают в кинобоевиках. Ну, поехал парень после традиционного перед отпуском сбора труппы домой, в свой невеселый спальный район. Ну, брел не спеша по довольно пустой улице в непозднее еще время, бормотал про себя, а иногда и вслух сцены из своей новой, только что полученной роли; ну, тормознул возле него черный «сарай» – джип «лендровер»; ну, степенно вышли из него двое ничем не примечательных мужчин, даже не качков; ну, попытался он сопротивляться, в обманчивой уверенности, что лихо умеет драться, – да ведь так называемая сценическая драка только эффектна, но никак не эффективна, поэтому двумя простыми движениями его успокоили, затолкали в джип, усыпили каким-то уколom, и очнулся он только через несколько часов в красивом загородном доме, красоту которого и пейзаж за стенами оценить, впрочем, никак не мог, поскольку оказался в небольшой комнате с мягкой мебелью, кондиционером и без окон. Так началось двухнедельное заточение Максима, причину которого он выяснил уже на следующий день.

Он действительно не понимал: за что и почему с ним обошлись таким образом? И девчонку, зашедшую в его «камеру» на следующий день, не узнал. Да и с какой

стать он должен был ее узнавать, если она когда-то попросила у него автограф, а он глянул на нее как на предмет далеко не первой необходимости. Хотя, соответствуя спектаклю «Фанфан-тюльпан», она тогда пришла с красивым букетом отборных тюльпанов. Таких поклонниц после спектакля у него было уже предостаточно – десятки, если не сотни.

Она попыталась напомнить ему о себе и о том эпизоде. Он не вспомнил, но, сделав вид, что вспомнил, презрительно процедил:

– Отомстила, значит...

– Нет-нет! – заторопилась влюбленная девочка с большими возможностями. – Я не мстить, я познакомиться...

– Вот таким бредовым путем? – осведомился герой.

– Да не я это!.. Это папа так решил, – заплакала она.

– Значит, твой папа – просто урод, – подытожил Максим.

– Он не такой, нет! Он просто очень меня любит и готов на все, чтобы облегчить мои страдания, – перешла вдруг девчонка на высокий стиль старинных женских любовных романов, и голос ее возвысился и патетически зазвенел под сводами тюремной пещеры несчастного узника, жертвы собственного искрометного таланта и нездешней красоты.

И место заточения, как и полагается, тут же огласилось ее глухими, довольно театральными и все же искренними рыданиями, которые должны были пробудить в узнике если и не сострадание, то хотя бы любопытство.

Любопытство было проявлено: Максим поинтересовался, что за горе такое овладело юной девушкой – судя по всему, дочерью весьма богатого и могущественного папы, который решился даже на такую уголовщину, как похищение человека.

– Вернемся к страданиям, – сказал он, вплотную приблизившись к вздрагивающей от рыданий девушке. – Что случилось? В чем причина?

– В тебе! В тебе!!! – внезапно взвыла девчушка и бросилась на шею неосторожно подошедшему так близко кумиру своих грез и идеалу – в ее представлении – мужской привлекательности.

С трудом оторвав от себя возбужденное тело этой (как он уже решил про себя) фанатки и психопатки, Максим терпеливо подождал, пока она успокоится. Потом девица, по-детски всхлипывая, рассказала, что вот уже три года сходит по нему с ума и ничего не может с собой поделать. Пробовала, мол, разными способами (и с помощью папы) его забыть, но ничего не вышло: горе ее росло и стало всепоглощающим. И тогда отец решил... Что было дальше – он уже знает.

– И что теперь-то? – резонно поинтересовался Максим. – Так мне и сидеть тут, пока я тебе... – На этом месте он помолчал, но все-таки продолжил: – Пока я тебе не отдамся?

Он хмыкнул и посмотрел на нее, надеясь, что она правильно оценит театр абсурда, в который он неожиданно угодил.

– Не нужно! Нет! Ты что?! – заверещала она. – Никто тебя тут насиловать не собирается!

Максим опять ухмыльнулся от навязанной ему роли, которую обычно исполняют девушки, попавшие в лапы сексуального маньяка.

– Вот спасибо, – с глубоким сарказмом в голосе, который прямо-таки убивал всех его фанаток, промолвил он. – Значит, насиловать не будешь?..

– Не буду, – серьезно ответила она. Смутилась и опустила голову.

– А что будешь?

– Приходить к тебе... иногда. Один раз в день. А если позволишь – два... Просто приходить, сидеть и смотреть на тебя. Больше мне, правда, ничего не надо.

– Ну, хорошо. А потом что? Когда меня выпустят? Когда... ты меня выпустишь?

– Две недели, не больше, – утешила она. – Потом тебя отвезут с завязанными глазами в центр города и отпустят.

– Да ты что? Правда? А как же все мои знакомые, родители, наконец? Они же волноваться начнут. Уже сегодня. Кто и как их-то успокоит?

– Не беспокойся, мой хороший, – с максимально возможной для себя нежностью произнесла она. – Все продумано. Вот как раз сейчас папа едет к твоим все улаживать.

– А театр? Что с театром? Дикость какая-то, ей-богу!

– Перестань, зайка, – с ласковой и фамильярной укоризной произнесла соискательница его внимания.

Максима передернуло от этого обращения, которое, как он напрасно надеялся, никогда его не коснется, так же как и сокращенное «зая».

Девушка заметила гримасу на его лице и, правильно ее оценив, сказала:

– Все, больше не буду. «Зайку» не услышишь никогда. Но все равно перестань, не говори про театр, не выдумывай ничего. Я знаю, что у тебя там отпуск, а съемки следующей картины начнутся только через месяц.

Тут она, повзрослев разом года на три, кокетливо улыбнулась Максиму и вышла. Ключ дважды повернулся в замке.

Глава 3

Визит недоолигарха к неимущим слоям населения

Тем временем папа разговаривал с родителями похищенного.

Естественно, Платон Сергеевич – отец и Агриппина Васильевна – мать уже сильно нервничали из-за отсутствия сына и даже звонка от него. Еще немного – и последовало бы обращение в милицию (в то время она еще так называлась) с соответствующим заявлением.

Но на следующее утро после суток паники на пороге их скромной квартиры возник шикарный господин в блестящем костюме, с букетом роскошных дорогих роз в одной руке, бутылкой итальянского игристого шампанского – в другой и самой лучезарной улыбкой на нежно-загорелом лице, улыбкой, лучезарнее которой родители похищенного парня не видели даже в телевизоре. Реклама отбеливающей зубной пасты выглядела жалким подобием улыбки олигарха класса «б».

Эта улыбка стоимостью в автомобиль представительского класса могла пленить кого угодно, но не родителей пропавшего Максима, и она постепенно сползла с лица озадаченного хозяина. Погасла. И первый контакт, таким образом, оказался провален.

Платон Сергеевич и его жена держались настороже и совсем негостеприимно. Понятное дело, им сейчас было не до гостей. Беспокойство за пропавшего сына сейчас было главным в их настроении и поведении. Заинтересовать их могла только эта тема. Она вскоре и возникла как главная причина визита.

– Я пришел по поводу Максима, сына вашего, – почти застенчиво и виновато промолвил магнат. – Могу войти?

Вмиг оживившихся родителей пронзило острое чувство вины за собственную невежливость и осознание того, что держат нежданного, но все-таки гостя на пороге.

– Да-да, конечно, – засуетились они. – Проходите, пожалуйста!

– Могу присесть? – продолжал магнат настаивать на соблюдении протокола и опять встретил извинительное:

– Да-да, конечно! Может, чаю или кофе? Только у нас растворимый, другого нет.

Гость отказался. Кофе он попьет в другом месте, более приличном, соответствующем его статусу VIP-персоны.

В глазах родителей артиста он увидел плохо скрываемое нетерпение.

– Что с сыном? Где он? Что вы о нем знаете?

– Давайте познакомимся.

Мини-олигарх вновь применил главный козырь – лучезарную улыбку, свет своего неотразимого обаяния. Он собирался представиться, назваться, первым произнести свои имя-отчество – Спартак Миронович, но не успел: родители артиста быстро протянули вперед свои сухонькие ручки и поспешно назвали: «Платон Сергеевич, Агриппина Васильевна», – и бизнесмен, с трудом подавляя буржуазную брезгливость, даже поцеловал маленькую ручку с огрубевшей от домашних трудов кожей.

Во время этого короткого ритуала Спартак Миронович, обладавший феноменальной реакцией и интуицией, которые помогали ему одерживать в бизнесе сокрушительные победы, по ходу перестроился и решил назваться каким-нибудь типично славянским именем – ведь если родителей парня зовут Платон и Агриппина, значит, они персонажи старой закалки и тем не менее модного нынче славянофильства, и надо с ними искать общие национальные черты, коллективную почву Малого Нечерноземья.

Поглаживая несуществующую окладистую бороду и стараясь употреблять слова и выражения, которые он смог припомнить, но смысл которых не совсем понимал, Спартак произнес:

– Исполать вам, добрые люди! – и отвесил при этих словах поясной поклон.

Но по тому, с каким легким недоумением переглянулись «братья-славяне», понял, что чуток перебрал, и вернулся к современной речи, не забывая все-таки иногда добавлять лингвистический колорит русских деревень и опуская при этом матерные слова.

– Зовут меня Савелий Игнатьевич, – протяжно сказал он и, привстав со стула, опять изобразил поясной поклон.

Хозяева квартиры тоже привстали, но от поклонов воздержались и только наклонили седые головы. Они с нетерпением ожидали, когда гость перейдет к делу.

Но Спартак уже увлекся игрой. Он всегда легко адаптировался к любой среде: был депутатом среди депутатов, меценатом среди артистов, спонсором среди спортсменов, а тут новая роль – закоренелый почвенник среди людей, не устававших негодовать: «Во что превратили страну? Как ее разворовали? И куда мы катимся?» Такая игра давалась олигарху без труда. Он полностью разделял доминирующие в обществе настроения и был согласен с тем, что пора, наконец, распрямить плечи, вернуть оплеванные и растоптанные идеалы, вспомнить славянские корни, возродить былую мощь и патриотическую удаль русских богатырей. Поэтому он, например, с удовольствием спонсировал инсценировки древнерусских побоищ в Подмосковье и сам принимал в них участие, нарядившись в шлем, кольчугу и взяв в руки меч-кладенец. Наверное, справедливо и правильно, для общей гармонии и равновесия в природе, имея виллы в разных концах света, на популярных морских пляжах, а также три яхты и личный самолет, время от времени бить себя в грудь, обдирая пальцы о специально для него сделанную кольчугу, и выкрикивать рожденный в недрах русской финансовой элиты лозунг: «Не дадим в обиду Русь-матушку!» или «Постоим за землю Русскую!». Еще бы не постоять за собственные сто пятьдесят гектаров в Псковской губернии! Спартак и дочь свою назвал не как-нибудь, а Авдотьей, а по-простому, по-нашему, по-русски – Дуней. И ее, Дунина, показная западно-гламурная жизнь совершенно не входила в противоречие ни с именем, ни с хороводами, в которых папа заставлял ее принимать участие.

Дуня, с заспанным, опухшим от вчерашней пьянки и тусовки в ночном клубе «Сохо» лицом, классно смотрелась в сарафани, лаптях и кокошнике, когда подносила хлеб-соль какому-нибудь депутату – папиному дружку. А затем вовлекала в ненавистный хоровод под визгливое пение псевдонародной группы. Сарафан был ей велик, лапти скользили по траве, кокошник сбивался набок. Но что делать? Папа спозаранку поднял чуть ли не пинками и погнал на очередное народное гулянье.

Но после нагрянувшей беды – неземной любви – вся ее жизнь перевернулась. Да и папино влияние сперва ослабло, а потом и вовсе почти исчезло. Сам папа

почувствовал это своей хваленой интуицией и поменял тактику. Теперь многое делалось исключительно для дочери.

И вот Спартак Миронович Дервояд сидел теперь на шатком стуле перед встревоженными родителями Максима и думал: как приступить к цели визита, чтобы не обидеть их и не травмировать?

Глава 4

Московский пленник

Пора вновь вернуться в место заточения Максима, в его комфортабельную тюрьму. Там было все, что необходимо интеллигентному человеку. Максиму даже принесли все книги по списку, который он предоставил охранникам. Папа заранее распорядился, чтобы пленник ни в чем не нуждался. Максим не имел только двух вещей – свободы и компьютера, так как тюремщики справедливо полагали, что при наличии ноутбука он сможет каким-то образом сообщить на волю о себе и обстоятельствах похищения. А так – всё, буквально всё.

Особенно следует коснуться ежедневного меню – еды, которую и едой-то назвать язык не поворачивался: назвать это можно было только яствами. Или – чуть попроще – деликатесами. Такие яства подавались, вероятно, только к царскому столу или входили в банкетное меню членов Политбюро в Советском Союзе. Максим с упертой принципиальностью узника совести ежедневно отвергал черную икру и прочее – все то, что он считал проявлением буржуазного снобизма, или, по-другому, омерзительным русским барством.

Последние несколько дней Максим с мрачным юмором называл себя «наложницей». Мысленно, разумеется, ибо произносить это вслух при Дуне – единственном человеке, который посещал его в заточении, – было совершенно бессмысленно. Судя по всему, Дуне ни само слово, ни его значение было не знакомо. А если ей объяснить, все равно не поймет. Поэтому пленник смеялся про себя. Но однажды он все-таки не удержался и рассказал.

В голове образованного юноши постоянно вертелись литературные ассоциации. Так, Дуню он регулярно называл «небедной Лизой», чем приводил ее в состояние розовощекого смущения. Она не понимала, почему он ее так называет, добавляя в голос немалую долю ехидства и криво усмехаясь. Обижает он ее или что? Всякий раз она, краснея, поправляла любимого, говоря, что ее зовут иначе, Дуней. Но Максим с маниакальным упорством всякий раз при ее появлении произносил: «А-а, небедная Лиза явилась. Ну, что нового на воле?» «Кто такая „бедная Лиза“?» – допытывалась она. И когда ему надоело, пришлось объяснить, что «бедная Лиза» – героиня одноименного романа Карамзина. Но тут же заодно понадобилось поведать плохо образованной девице, кто такой Карамзин. После этого Дуня захотела прочесть упомянутое произведение.

Вот так неожиданно начала формироваться библиотека внеклассного чтения для Дуни. От бульварных любовных романов и дачной жвачки женских детективов, а также гламурных журналов, повествующих о том, кто с кем живет, что носить и что есть, чтобы похудеть, – сразу к Карамзину! Представляете, какой невообразимый скачок – без постепенного перехода. Непосильно для слаборазвитого ума, согласитесь.

«Бедная Лиза», надо признать, далась Дуне с трудом, только благодаря любви – безответной, но подогреваемой призрачной надеждой на перемену отношения предмета страсти.

Максим, вероятнее всего от скуки, решил хоть чем-нибудь восполнить пропасть между Карамзиным и описанием гардероба очередной поп-звезды и продолжить тему «наложницы» хоть для какого-то веселья в заточении. Он попросил Дуню принести ему «Героя нашего времени» Лермонтова. К счастью, эту фамилию она где-то слышала... Книга была доставлена, и узник решил прочесть Дуне часть под названием «Бэла». Как и ее отцу, Максиму пришло в голову сравнение с лермонтовским сюжетом. Девушка была счастлива: любимый артист начал с ней общаться – а от скуки или от чего-то еще – неважно! И более того, САМ вызвался ей читать книгу. Вслух! Любимый! Да еще артист!..

Она, раскрыв рот, внимала художественному чтению Максима, не очень вникая в смысл. Сам процесс был куда важнее – как он перелистывает страницы своими красивыми руками, как завораживающе звучит его голос, как изредка он отрывает глаза от книги и взглядывает на нее своими ярко-синими глазами из-под длинных пушистых ресниц! О, как она хотела их целовать! Ах, как она любила эти сеансы чтения! При этом мало понимая, о чем там написано, и каким

образом содержание книги связано с сегодняшним днем, и почему оно касается и ее самой, и создавшейся ситуации.

Максим наконец все это увидел и решил вернуться от гипноза к реальности, к смыслу происходящего. Объяснил балдеющей от его чтения Дуне, что он тут в роли Бэлы, а она – в роли Печорина. Ситуация в романе, мол, ничего ей не напоминает? Когда она наконец вникла в аналогию, ею овладел такой приступ смеха, что она заразила им и исполнителя роли Бэлы. Оба несколько минут смеялись, и в тот день между ними впервые протянулась тонкая, очень тонкая, паутинка взаимопонимания.

Потом Дуня захотела все же повнимательнее ознакомиться с романом Лермонтова и прочла историю про Бэлу до конца. А там, между прочим, было написано, что непокорная черкешенка сначала смирилась, а вслед за тем и безоглядно влюбилась в пленившего ее Печорина. Это обнадеживало Дуню и внушало подобие оптимизма: может, и ее ненаглядная «Бэла» (то есть Максим) сначала привыкнет, а потом и полюбит... Однако пленник, зная продолжение истории, не пожелал читать дальше, чтобы Дуня особо не обольщалась.

Сеансы чтения временно прекратились. Максим не знал, что пытливая девушка справилась с финалом истории самостоятельно, и никак не догадывался, отчего у его тюремщицы, как только она входит в его одиночную камеру, глаза начинают сверкать таким неестественным блеском.

А Дуня умоляла его почитать что-нибудь еще. Ну не хочет «Героя нашего времени», пусть почитает что хочет, по своему вкусу. «Еще чего?!» – грубо возразил Максим, но потом подумал, что есть по крайней мере два аргумента «за». Первый – борьба с невежеством хотя бы одной отдельно взятой избалованной богачки, то есть просветительская, если угодно, миссия; и второй – хоть какая-то практика в актерской деятельности, поддержание рабочей формы.

Вот так в одиночке Максима, а следовательно, и в домашней библиотеке Дуни появились Ремарк, Хемингуэй, а затем Бунин, и Тынянов, и Набоков, и Паустовский, и Довлатов, и многие другие. Прочсть вслух удалось только любимый роман его юности – «Фиесту» Хемингуэя, – потому что вскоре случилось освобождение. И произошло избавление Максима из плена довольно неожиданно и по очень оригинальной причине.

Глава 5

Импровизации Спартака

Теперь, я полагаю, вас гложет любопытство: каким образом папа нашей героини вышел из положения? Как он приступил после прелюдии знакомства с родителями пленника к главному – цели визита? Мы же оставили его как раз в момент, когда он обдумывал стратегию своего дальнейшего поведения.

Времени на размышления у него практически не было, тем более что Платон Сергеевич и Агриппина Васильевна смотрели в глаза неожиданного гостя с нарастающим тревожным ожиданием.

Спартак Миронович (которого правильнее называть просто Спартаком – в силу его героической наглости и бесшабашного атакующего поведения в бизнесе, всегда почему-то приносившего ему удачу) подумал, что действовать надо как всегда – яростный штурм, шок у противника и безоговорочная победа. Вызвать шок, по мнению отважного предпринимателя, должна была внушительная пачка долларов в банковской упаковке, которую он выхватил из кармана так, как ковбои из американских вестернов выхватывают кольт. И то и другое объединяло одно – они были оружием, способным побудить оппонента к капитуляции.

Итак, пачка долларов была выхвачена и брошена на разделяющий их стол с глухим, но убедительным стуком. То есть вес ее был что надо! Лежавшая посреди стола пачка вызвала у стариков ожидаемый шок, но только своеобразный – они отшатнулись от стола, в немом ужасе глядя на доллары как на гремучую змею, которую взбесившийся серпентолог зачем-то принес им, выхватил из кармана – и швырнул на стол. И сейчас ядовитая тварь их укусит и умертвит.

Спартак никак не ожидал такой реакции. Нет, он, конечно, представлял себе всякие «ах!» и «что это?»... Однако он жаждал радостных «ах» и восторженного изумления, а тут к всемирно уважаемой валюте отношение как к змее или другой какой-нибудь ползучей твари.

Дервоед почувствовал даже некоторую обиду за доллары и желание как-то за них вступиться и начал с не совсем уместной в сложившихся обстоятельствах барской интонации:

– Это вам.

– Зачем нам? Нам не надо! Что это вы?! – отталкивая воздух перед собой, залепетали бедные члены КПРФ.

Благоприятной завязки разговора об условиях предполагаемого соглашения не получилось. Так же, как не удалась прелюдия знакомства. Все пошло не так, надо было на ходу перестраиваться.

Однако Спартак Миронович был не только наглым и удачливым, он был еще и невероятно хитрым и изворотливым, обладал мгновенной реакцией на обстановку, на реплики и даже мимику любых собеседников – тем, что, кстати, отличает самых удачливых и остроумных телеведущих. Заметив и оценив реакцию пенсионеров на пачку свободно конвертируемой валюты (реакцию, прямо скажем, неуважительную), Спартак (он же Савелий Игнатьевич) быстро сориентировался и, стараясь не потерять исконно русского стиля, попытался соединить его с новыми на Святой Руси товарно-денежными отношениями.

– Не пугайтесь, товарищи, – примиренчески начал гость, – деньги эти – всего лишь материальная помощь от государства... Родины нашей многострадальной, – добавил он, едва не прослезившись, но в последний момент решил все же придержать слезу, посчитав, что это будет выглядеть несколько театрально. – Сам я тружусь на, так сказать, строительной ниве. Ну, в смысле, строю дома городские и подалее, в Подмоскovie. И вот государство обязало недавно нас, бизнесменов... Фу ты, пропасть! Опять это проклятое слово! Не люблю все эти словеса из Америки! Но, уж извините, товарищи, замены у нас этому слову нет пока, иногда лишь обидно обзывают нуворишами. Так что нас, деловых людей, всех, президент и правительство попросили помогать бедно живущим, нуждающимся людям.

Он сделал паузу.

– «Деловые люди» – тоже, конечно, коряво. И не по понятиям, – сбился вдруг Спартак на специфические обороты своего почти забытого прошлого. –

Президент попросил – это значит обязал. И никак не иначе! И вот мы с пацанами, то бишь коллегами с этого района, раскидали, кому в какую неделю и сколько приносить. Это легко. Через собес, паспортный стол и прочее. И мне выпало – идти к вам, – широко улыбнулся Спартак. – Так что не пугайтесь. Безвозмездная матпомощь и всё. «Вспомоществование», – припомнил он еще одно слово, относящееся к старославянскому, как он полагал, гуманизму.

– Так, подождите, – после некоторого молчания и переглядок с супругой растерянно произнес Платон Сергеевич. – Савелий Игнатьевич, вы же вроде по поводу сына пришли, как вначале сказали. При чем тут ваша материальная помощь?.. Где наш сын? Что с ним? Вы что-нибудь знаете?!

– Не тревожьтесь, товарищи, – с максимально возможным для себя добродушием промолвил Спартак – Савелий Игнатьевич. – Материальная помощь от моей фирмы случайно прилась на вас и вашу квартиру. Ну, совпало так, срослось, понимаете... А вот то, что вы родители Максима, вот это уже совсем не случайно. И когда я узнал, кому несю деньги, что родителям Максима несю, то сильно обрадовался! – продолжал он вдохновенно врать. И тут же добавил: – Шибко рад был!

Спартак временами забывал, что он – Савелий, и сбивался на светскую манеру общения. Но потом вспоминал, спохватывался и возвращался в народное, посконное, так сказать, лексическое русло.

– Так что примите, сограждане дорогие, скромное мое подношение вам. Уж не побрезгуйте, товарищи. А касательно Максима, я вам немедля расскажу, почему я с ним знаком и где он сейчас. Тревожиться не надо. Он у меня живет теперь. На даче моей. А вот как он попал туда – сейчас расскажу.

Спартак помолчал, обдумывая более или менее правдоподобную версию исчезновения Максима, и вроде бы нашел самый верный путь – путь полуправды.

Насильственное похищение, то есть уголовный аспект, исключалось вовсе, дабы не напугать до смерти «божьих одуванчиков» родителей, и без того сидевших в напряженных позах, сцепив судорожно руки, с предчувствием ужаса в глазах. Они ждали от сидевшего напротив улыбчивого магната какой-нибудь страшной новости – типа автомобильной аварии, в которую угодил их сын, но, мол, выжил, и теперь в больнице, но главное – жив, вот только позвонить не может. В любом

случае они готовились к чему-то скверному, но только, не дай бог, не смертельному. Старички все эти годы и не ожидали от судьбы ничего другого, только исключительно гадкого. Они привыкли к тому, что в их жизни менялись только степень или объем этого гадкого, а так ничего – терпели и еще потерпим.

Насчет больницы Спартак тоже успел быстро прикинуть, но сразу отмел этот ни к чему не пригодный вариант. Ведь тут же возникает сопутствующее никчемной версии недоумение: «А он-то откуда знает? Он что, санитар из этой больницы, врач, спонсор на худой конец?» Спартак всегда придерживался одного незыблемого правила: не врать, когда можно не врать, когда сказать правду даже выгоднее. Но когда всю правду нельзя (как в данном случае), то можно и полуправду.

Похищение Максима, содержание его взаперти – это несущественные, как полагал магнат, детали. А вот причина похищения, кому и зачем их сын оказался нужен, – это чистая правда, тут ничего и выдумывать не надо.

И Дунин папа, бегло нарисовав перед родителями Максима портрет своей несчастной влюбленной дочери и надеясь при этом на родительское понимание и солидарность, рассказал, как бедная девочка чахла и сохла от любви к их сыну и таяла буквально на глазах, а родительское сердце прямо разрывалось при виде этого; и чего только не предпринимали, чтобы спасти дочь, – мол, и в Лондон этот клятый учиться отправляли, и красавцев-парней с Рублевки подсовывали, и пытались опорочить и принизить предмет ее девичьих грез – например, соблазнить его очень большими деньгами за корпоративный концерт, на котором ему заказали бы прочесть стихи Мандельштама, но... голым... Ну, не совсем голым, в плавках, конечно, но все-таки... Поверьте, очень большие деньги!.. Можно было бы ему с вами, родителями, целый год безбедно жить, ничего не делая. Заодно, понимаете, хотелось увидеть, за какую сумму молодой человек в наше время может поступиться принципами, забыть о так называемой чести...

Тут магнат криво усмехнулся, посмотрел на старичков в расчете на понимание, но понимания на их застывших лицах не обнаружил и продолжал гнать пургу как ни в чем не бывало:

– Мы с матерью думали, что, ежели он согласится, у дочери глазки-то откроются, и любовь ее накроется... медным тазом, как это часто бывает. Ан нет! Не вышло! А когда анадьсь встретился я с ним, с Максимом-то вашим, и сделал ему это

предложение, и сумму назвал, и даже аванс вынул из кармана, он, сынок ваш принципиальный, посмотрел на меня как на козявку вонючую – на меня, владельца трех предприятий, одной авиакомпании и двух газет. Обидно, знаете, но принципы я все ж таки уважаю, и людей, которые без колебаний отказываются от таких денег, – тоже уважаю.

Спартак тараторил, не останавливаясь. Его несло на всех парусах по полноводной реке вдохновенной импровизации. Так, искусственно и профессионально возбуждаясь, он доводил почти до экстаза и себя, и избирателей, когда толкал перед ними речи во время предыдущей кампании. И уже не замечая ни омутов, ни мелководья, не контролируя речь, теряя взятый на себя образ славянофила и почвенника и смешивая таким образом «девичьи грезы» с «анадысь», он гнал и гнал свою ладью к мелодраматическому финалу, сентиментальному берегу сострадания и взаимопонимания.

– И тогда я решил сыну вашему, Максимке принципиальному, все честно рассказать о дочери. Она ить пригожая у меня, даже ненаглядная, – всхлипнул Спартак и, желая смахнуть несуществующую слезу, полез в карман за белым платком с золотым вензелем, с его инициалами, но вовремя вспомнил, что он из народа, и просто протер оба глаза тыльной стороной ладони. – Дочурка наша, красавица, – продолжил он тоскливо, – извелась ведь вся, исстрадалась, иссохла! Короче, закручинилась. Красота-то какая пропадает все, испаряется. И вот я Максимке-то и поведал все про дочурку. А он спрашивает: «А от меня-то вы чего хотите?»

Тут впервые за время монолога подал голос Платон Сергеевич:

– Да-да, чего вы, правда, от него хотели? И что дальше?

– Где он, где? Скажите, – вступила в разговор Агриппина Васильевна.

– Подождите, сейчас дойдем и до этого. Сейчас все узнаете, – успокоил Спартак. – Ну так вот. Рассказал я Максимке, как страдает дочь наша, и говорю: «Пожалел бы ты ее, парень». «Как?» – спрашивает. «Да ничего особо от тебя и не надо, – отвечаю. – Поговори с ней хоть разок, объясни, что молодые девчонки часто любят не человека, а персонаж. Это как скарлатина – быстро проходит. Объясни, потолкуй... Тебя-то она точно послушает. И призадумается...» Я его так слезно просил, что вижу: колеблется. Хороший, жалостливый у вас паренек.

Редкость в наши дни.

– А дальше, дальше-то что? – поторопил рассказчика Платон Сергеевич.

– Ну, я и стал его дожимать. «Поехали, говорю, к нам на дачу». Тут Максим отрицательно так головой помотал. Но я все долблю в правильном направлении: «Она, дочка моя, сейчас там – плачет, как всегда, сил на это смотреть никаких нет! Плачет каждый день: закроется в комнате своей, фотографию твою, Максим, перед собой поставит – и плачет». – Тут Спартак и взаправду чуть было не прослезился. – «Поехали, а?.. Ну поехали, пожалуйста», – говорю. Короче, умолил я его. Эта история с фотокарточкой и слезами дочери его добила.

– Это правда? – удивились родители.

– Да еще какая! – убедительно сказал магнат. – И сейчас Максим у меня на даче. – Он помолчал. – И она, дочка, больше не плачет... Пока он там, во всяком случае, – добавил Спартак, опустив голову.

Исповедь его опустошила и повергла в естественное уныние, так как он и вправду не видел выхода из создавшегося положения. Держать Максима в настоящем плену у себя на даче больше было невозможно – ведь это, как ни крути, настоящая уголовщина, статья. И он, как олигарх и депутат, сильно рискует. Надо что-то делать.

Из всех способов Спартак возлагал надежды лишь на один – откупиться и при этом уговорить Максима и родителей не подавать в суд. И вот именно сейчас идет первый этап распутывания этого идиотского узла – ситуации, в которую он никак не предполагал попасть.

– Ох ты, доля ты моя, долюшка, – тяжело вздохнул Спартак в образе Савелия Игнатьевича и вдруг услышал в ответ:

– Да прекратите вы, наконец, эти ваши фальшивые славянизмы! Что вы тут этакую псевдонародную клоунаду затеяли!

Спартак поднял упавшую на грудь голову и с изумлением увидел не хилых старичков, не жертв пенсионных реформ, не инвалидов перестройки, а,

напротив, суровые, жесткие лица неутомимых борцов, закаленных в безуспешных боях с социальной несправедливостью.

– Что вы нам тут пургу гоните! – Платон Сергеевич вдруг перешел в разговоре с оппонентом на энергичный сленг современной молодежи. Вероятно, для того, чтобы его вопросы звучали твердо, с требованием незамедлительного ответа. – Вы сказали, где сын, вы сказали, почему, но мы с женой ни слова пока не слышали о том, по какой это причине его нет уже несколько дней, он ни разу не позвонил и не дал о себе знать.

– Наш сын, – поддержала выступление мужа Агриппина Васильевна, – ни за что не заставил бы меня волноваться и вызывать скорую. А вы тут плетете нам про любовь вашей доченьки.

– Вы, конечно, удерживаете Максима силой, – продолжил Платон Сергеевич. – Что мы, не понимаем?..

– Да и позвонить ему не даете, – вторила Агриппина Васильевна. – Он бы сам никогда... – Она заплакала и вышла из комнаты. – Мы немедленно напишем новое заявление в милицию, – послышалось из кухни. – Платон, выгони его из нашего дома, прошу тебя!

– Успокойтесь! – Спартак встал. – Ваш сын в полном порядке и превосходно себя чувствует. И сегодня же вам позвонит – я обещаю. На днях вернется домой. И никакого заявления не надо. Вы очень помогли моей дочери. Вы и ваш сын. Он, можно даже сказать, мою Авдотью почти спас. Думаю, даже от суицида...

– От суици-и-да! Авдотью! – передразнил возмущенный Платон Сергеевич. – Несовместимые слова. Я же просил, перестаньте ерничать!

– Дуня – моя дочь, – обиделся Спартак, – ее действительно так зовут.

– Я в последний раз спрашиваю: когда Максим вернется домой? – гневно допытывался Платон Сергеевич. – Что? Он у вас там будет в заложниках, пока ваша дочь, видите ли, не перестанет плакать?

«Ну, в принципе, так оно и есть», – подумал Спартак, а вслух сказал:

– Давайте все же попробуем договориться. – Он взял в руки пачку долларов, так с самого начала их разговора и лежавшую на столе. – Я буду платить столько же за каждый день пребывания Максима в моем доме. За каждый! Столько же! А это много, заметьте! У вас будет обеспеченная старость.

Агриппина Васильевна вновь вошла в комнату и, стоя гордо и прямо перед ненавистным представителем отечественного капитала, сказала:

– Подавитесь вы вашими деньгами! Думаете, вам все можно?! Думаете, что купить можете всех и все?! Так вот, не всех и не все! И пойдите вон из моего дома с вашими грязными деньгами и вашими грязными предложениями!

Низенькая старушка гордо стояла перед довольно высоким мужчиной и при этом смотрела на него свысока! И Spartak почему-то это почувствовал и даже слегка пригнулся. Стол разделял противоборствующие стороны, но то был не стол, а идеологическая пропасть, преодолеть которую не может никто и никогда.

Но подошедший к столу Платон Сергеевич вдруг неожиданно сказал жене:

– Груня, стой! Подожди. – Он взял в руки пачку денег. – Мы подумаем...

Агриппина Васильевна округлившимися глазами уставилась на мужа и сдавленным голосом невнятно произнесла:

– К-к-ак?!

Платон Сергеевич взглянул на нее в упор и членораздельно повторил.

– По-ду-ма-ем! Понятно?! – вкладывая в эти два слова и интонацию что-то такое, чего его жена, а тем более этот нувориш пока не понимали.

Однако жена должна была догадаться: видимо, Платон Сергеевич что-то задумал и лучше ему не возражать.

Небрежно крутя в руке пачку свободно конвертируемой валюты, Платон Сергеевич язвительно произнес.

– Гуманитарная помощь, говорите. Ну-ну... Так вот, гуманитарную помощь мы возьмем, – сказал он, особо выделив слово «гуманитарную». – А об остальном – подумаем. Подумаем, – вновь повторил он, обернувшись к своей бескомпромиссной супруге.

– Мы вам позвоним, – сказал он магнату почти высокомерно. – Оставьте телефон или там визитку вашу. Что у вас есть? А шампанское заберите!

Визитка у Спартака, разумеется, была, и он с важным видом положил ее на стол – на то место, где только что лежала пачка долларов, перекочевавшая в руки Платона Сергеевича.

– До свиданья, – сказал Спартак родителям похищенного, улыбнувшись напоследок одной из своих самых располагающих улыбок.

Как бы забыв забрать шампанское, он вышел с твердым убеждением, что победил и решил проблему, а садясь в свой «порше», подумал: «Ай да я! Ай да молодец! Как я старичков-то уделал!»

Он и не подозревал, что все было не совсем так... Или, точнее, совсем не так.

Глава 6

Песня узника в темнице. Сила любви

Срок заточения Максима иссякал, но сам узник об этом не догадывался. Напротив, он думал, что попал в мохнатые лапы олигарха и его взбалмошной дуры-дочери надолго. Поэтому Максим делал все от него зависящее, чтобы устроить пребывание в шикарной своей тюрьме более или менее сносным. Ему и так было предоставлено все, что он пожелает, кроме свободы. Но он временами все равно капризничал, чтобы позлить хозяев. Они не злились. А Дуня вообще была готова на все, лишь бы угодить своему пленнику.

По части капризов фантазии Максима, выросшего, как мы помним, в семье с ограниченными возможностями, были весьма скромными и легко выполнимыми.

Например, в один из дней он потребовал гитару. Очень хорошую акустическую гитару, толком сам не зная, какая гитара из всех существующих в Москве – самая хорошая. И тем не менее уже через пару часов ему привезли инструмент, при первом же взгляде на который было ясно: супер! И не просто супер, а мегасупер: ручная работа, штучный товар, «индивидуальный пошив» с фамилией мастера внутри. Такая гитара дилетанту родом из клуба самодеятельной песни была вовсе не нужна, но... ему ведь хотели и тут угодить. Максим взял драгоценный инструмент, благоговейно настроил и попросил Дуню и курьера, доставившего эту дорогую вещь, эту бесценную лиру для пленника чужой любви, покинуть комнату.

Курьер вышел шумно и грубо, а Дуня – на цыпочках, правильно оценивая таинство происходящего. «Давненько не брал я в руки...» – подумал Максим и осторожно прошелся по струнам. Недавно он сочинил мелодию и выучил одну песню, точнее романс, на стихи Солоухина, которые ему очень нравились, и собирался этот романс повторить. Для себя. Для своего удовольствия. И начал потихоньку, а затем все громче и увереннее его напевать.

Дуня же никуда не ушла. Она стояла под дверью и, обмирая от любовной истомы и восхищения, слушала проникновенные слова поэта и чарующее исполнение любимого мужчины.

Надо сказать, что сердце почти любой женщины можно растопить интимным исполнением песни душевного содержания. Ну а бедное Дунино сердце уже давно было растоплено и беспомощно плавало в розовом сиропе нежности и умиления. К тому же представьте себе, что стихи вдруг оказались абсолютно созвучными с происходящим, с тем, что творилось в исстрадавшейся Дуниной душе и жаждущем ласки организме. Мало того что попали в резонанс, но и служили мудрым утешением, были, как говорится, пронизаны теплотой и участием. Да еще и оптимизмом.

Максим пел: «Давным-давно известно людям, что при разрыве двух людей...»

«Это про меня, про меня! – беззвучно рыдала Дуня за дверью. – Это мне! Мне нужна хоть капелька любви! А мы с ним ведь точно скоро расстанемся, нельзя же будет его держать тут так долго! И вот это: „Сильнее тот, кто меньше любит“... А он же меня вообще не любит. Совсем-совсем! И потому „сильнее“ – не то слово! Еще как сильнее! А я уже совсем слабая стала, уже и дышать без него не могу! Как там еще? – „Кто больше любит – тот богаче“. Да куда уж, блин,

богаче-то! Уже долларами можно всю дачу обклеить! А толку-то?! Все равно ведь не любит и не полюбит! Хотя бы нравилась я ему! Хотя капельку! Но нет! В лучшем случае – улыбнется. Смеется надо мной! Что я такая необразованная. Читала мало... Дурак! А в любви никакого чтения и не нужно! Если бы позволил хоть раз прикоснуться к себе, потрогать – я бы ему и без чтения показала, на что способна, как я могу любить и ласкать его!»

Дунин внутренний монолог был совершенно несправедлив: именно чтению она была обязана своими скромными теоретическими познаниями в сфере межполовых связей. Причем следует подчеркнуть, что чтению не каких-то там книг, а, разумеется, полезной во всех отношениях информации из Интернета. Про всякие-разные половые отношения-сношения там всего было в избытке. И не просто скучное чтение, а, что немаловажно, с картинками, с наглядными, между прочим, пособиями. Поэтому Дуня была совершенно уверена, что, если дойдет до дела, она бы смогла Максима и удивить, и обрадовать, а потом даже, может быть, и привязать к себе.

Она так размечталась, что перестала сдерживать скорбные звуки несостоявшейся любви, которые рвались наружу.

Максим услышал, прервал песню и выглянул из комнаты в коридор. Он увидел сидевшую на корточках Дуню, которая тихо скулила, как дворняжка Каштанка, потерявшая хозяина.

– Ты чего? – удивился Максим.

– У-у-у-у, – ответила девушка.

– В каком смысле? – уточнил он.

Ее ответ ясности диалогу не прибавил:

– Не знаю... Ты такой... Ух ты какой...

Она замолчала, поднимаясь и глядя на него с собачьей преданностью, как все та же Каштанка, которую наконец нашли. Хозяин нашел и сам отыскался.

Глаза Дуни оказались на уровне подбородка Максима. Она неотрывно смотрела вверх, в его глаза, стремясь найти в них хоть какой-нибудь отблеск ответного чувства. Не любви, конечно, куда там, но хотя бы сострадания, тени минимальной – а много и не надо – симпатии. Она еле сдерживалась, чтобы не прильнуть к юноше и не стиснуть его в объятиях.

Максим сверху смотрел в эти глаза, полные любви и слез, и не знал, что делать. Несмотря на свою уже проявившуюся звездность, он ухитрялся сохранять в себе порядочность и даже некоторое целомудрие, совершенно нетипичное для актерской среды. Юная привлекательная девушка стояла близко-близко и смотрела на него, совершенно очевидно и недвусмысленно предлагая себя. На мгновение Максиму стало смешно: он вспомнил собственную аналогию с Бэлой и Печориным и понял, что не дает себя обнять, как непорочная девушка на выданье. Он даже сделал такой вяло-отталкивающий жест рукой – мол, не надо; я сейчас не готова; только не здесь; зачем тебе ЭТО надо – куда ты так спешишь?..

Дуня восприняла этот жест как робкий отказ, но не слишком решительный; как сопротивление, но такое слабое, что его можно и нужно сломить. И она ринулась в образовавшуюся, как ей показалось, брешь, словно вода сквозь прорванную плотину; судорожно обвила руками объект своей неудержимой страсти и прильнула к нему всем телом – так, чтобы точки соприкосновения были везде, чтобы не оставалось ни одного просвета.

Справедливости ради надо отметить, что тело было стройным, гибким и к тому же очень мягким и отзывающимся на каждое встречное движение. Это тело расцвело и созрело (извините за рифму), оно всецело (вот опять) было готово к любви и ласке, но никто, никто! пока (теперь извините за пошлость, но против правды не попрешь) этот плод не сорвал. Вот и Максим...

Объясним теперь, почему краткая характеристика Дуниного тела была дана именно ради справедливости. Потому что Максим отказался, не принял предлагаемый в дар плод. После объятия он почувствовал, что проклятое мужское естество берет верх. В конце-то концов, он ведь молодой мужчина, и нерастраченный тестостерон просто требует выхода. Но Максим был слишком хорошо и строго воспитан для того, чтобы инстинкт возобладал над порядочностью и, знаете ли, ответственностью. «Ты в ответе за того, кого приручил», – кстати припомнил он слова безусловно порядочного и хорошего человека – Антуана де Сент-Экзюпери. А вот если я поцелую ее сейчас – все!

Считай, уже приручил и оставил ее без взаимности. А сейчас она только без взаимности, и давать ей какую-то надежду – это как раз и есть непорядочность, безответственность и попросту ложь. Вот Максим и сдержался, не прильнул к этим влекущим, алчущим поцелуя губам.

Автор в первый и – хотелось бы верить – в последний раз употребил в своей прозе слово «алчущие», но тем не менее подумал: пусть эта страница (начиная с описания Дуняшиного тела) будет отмечена таким эротическим пафосом – хотя бы для разнообразия.

Итак, Максим не поцеловал, но пожалел влюбленную выпускницу средней школы. Собрав волю в кулак, он взял Дуню за плечи и мягко отстранил. Потом сказал:

– Пойдем в комнату... Песню слышала, да? Понравилась?

– Да, да, очень, – залепетала Дуня. – Там все про меня... про нас...

– Да ладно!.. – выразил он удивление.

– Правда. «Кто больше любит – тот слабее» – это про меня. А ты ведь меня совсем не любишь... Это я и так знаю. – Она чуть подождала, слабо надеясь на возражение. Но, не дождавшись, продолжила: – Но я тебе хоть чуточку нравлюсь? Ну хоть немножко?

– Подожди, Дунь, – постарался уйти Максим от скользкой темы. – Ты лучше скажи, как тебе в голову могла прийти такая идиотская идея – меня украсть и тут запереть? Ну как вообще нормальному современному человеку в двадцать первом веке может такое взбрести в голову? А?

– Да не моя это идея, – потупившись, сказала Дуня, – а папеньки моего. Он решил, что пускай, мол, я на время получу такую игрушку, о которой мечтаю. Он думал, что ты для меня – игрушка. Все остальные он уже перепробовал. Дам, мол, доченьке предмет ее воздыханий в коробочке с розовой ленточкой – она насытится и успокоится.

Дуня замолчала.

– Ну? И что, успокоилась уже? Или еще надо месяцок-другой? – почти злобно спросил Максим.

– Нет! Не успокоилась! – категорически и вместе с тем нежно ответила она. – Успокоишься тут, когда ты такие песни сочиняешь и поешь.

– Почему я? – проявил Максим честную скромность. – Моя только музыка, мелодия. Ну и исполняю сам, конечно.

Он был рад при любой возможности увести беседу в сторону, но ему это не очень-то удалось.

– Я знаю, мой люб... Короче, Максим, мне и так известно все, что ты делаешь. Я ведь очень давно слежу за то... за творчеством твоим. Потому что я тебя очень-очень... Потому что я тебя... вообще... Кажется, что всю жизнь, пока себя помню. Стихи тебе пишу. Тебе и про тебя. Не показываю никому. И все про тебя знаю... И помню. – Дуня глубоко вздохнула и спросила: – А ты помнишь, какое сегодня число?

– Пятое июня, – удивленно ответил Максим.

– Нет, ты не понял. Что это за дата – ты помнишь?

Из вежливости Максим порылся в памяти, ничего там не обнаружил и ответил:

– Нет... Нет, ничего не припоминаю.

– Так вот, – сказала Дуня. – Сегодня исполнился ровно год, как ты меня послал подальше. Не помнишь?

– Не помню... Как послал? Зачем? По какому поводу?

– Я тогда десятый класс оканчивала. И в который раз пришла на твой спектакль, последний перед отпуском. Потом у служебного входа ждала тебя с букетом тюльпанов. Поздравить хотела с окончанием сезона. А сзади папин лимузин ждал. Ты вышел...

– Ну, ну, дальше! – поторопил Дуню ее пленительный пленник (ну как же тут без каламбура!).

– А дальше – как всегда. Тебя окружила куча телок с цветами и блокнотами для автографов. Стали клянчить сфоткаться с тобой. Ну и когда я сквозь них все же прорвалась, Валера, шофер наш, меня окликнул. И я, уже озверелая совсем, рывкнула на него как на лакея, чтоб не лез, куда не просят, и знал свое место...

– Ну, и что дальше?.. – с трудом припоминая давний эпизод, спросил Максим.

– А дальше ты посмотрел на меня, потом на машину как на мусоровоз, не принял от меня цветы и так, знаешь, брезгливо обронил: «Не пошла бы ты, девочка, читать книгу „Капитал“ Карла Маркса, чей бородатый памятник тут на площади стоит». И я с позором ушла. А телки твои мне вслед ржали...

Печальный рассказ Дуни о памятной дате их несостоявшегося знакомства подтолкнул Максима на еще один, почти профессиональный вопрос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/kachan_vladimir/na-kostilyah-lyubvi

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)